

но делать все. Так что вы понимаете, посылка о том, что Бог умер и все позволено (а Ницше выражал это иначе: истины нет, следовательно, все позволено), странным образом перевернулась: Бог есть, поэтому все позволено (если мы отождествим Бога со знанием, и — только в этом отождествлении). Нечто твердо известно, поэтому можно делать все. Известно, что́ нужно обществу, известно, что́ есть добро, известно идеальное общество, известно царство блаженных, и, чтобы привести людей к нему, позволено все. (...)

ЛЕКЦИЯ 17

Завершая некоторые рассуждения о Фрейте, мы остановились на том, что я выделил два отношения, где первое — это какое-то видение, которое можно иметь об опыте сознания извне, в какой-то перспективе, которую я называл трансцендентной, перспективе внешнего наблюдателя, которому известно строение мира, известны сущности, и второе — это то отношение, которое возникает внутри самого опыта как некая самоценность или самодостоверность опыта (и не только в психоанализе, а вообще в современной философии). Вообще, этот факт имел очень много последствий: часть из них мы прослеживали в феноменологии, в экзистенциализме, и то же самое мы увидим в психоанализе, который внешне никакой философской традиции не придерживался. Фрейд не исходил ни из экзистенциализма, ни из феноменологии, ни из какой-либо академической философии; он лишь иногда довольно смутно упоминал о Шопенгауэре и Ницше как о философах, которые впервые заговорили о бессознательном (при этом непонятно, в каком смысле и в каком значении они употребляли этот термин), поэтому как сам Фрейд не понимал своих собственных филиаций, так и нам (тем более) их не понять (и можно этим не заниматься, а заниматься просто сутью дела).

Я говорил, что осознание некоторой абсолютной конкретности и самодостаточности опыта, который нельзя изжить, или от-объяснить, в психоанализе является решающим с философской точки зрения. В связи с этим и появляются сложные ответвления самой психоаналитической техники, в которой мы частично попытаемся разобраться, но пока я хо-

чу подчеркнуть неизживаемость опыта. Для того чтобы вы понимали, о чем идет речь, я, скажем, приведу пример. Очень часто наше понимание вещей вокруг нас, слова, которыми мы эти вещи обозначаем, сохраняя всю внешнюю форму и видимость понимания, являются вместе с тем чем-то в действительности другим, чем понимание.

В 1949 году, когда я приехал в Москву, в этот холодный, то мокрый, то ледяной город, со мной вели «общественную работу» не только в стенах университета, но иногда и на улице. И вот однажды идем мы по улице с одним моим сокурсником, который тогда был комсоргом группы, и он мне втолковывает что-то такое очень возвышенное, и мы подходим к кинотеатру «Центральный» (которого сейчас уже нет) на площади Пушкина. Был мокрый, склизкий день. В самой середине его возвышенной речи, которую я молча слушал, подходит к нам мальчик лет десяти, оборванный и явно голодный, с очень выразительными глазами, и просит подать ему. Ну, я дал ему какую-то мелочь и говорю моему сокурснику (его, кстати, звали Марлен¹, согласно женскому немецкому имени, а у него это было новое русское мужское имя²): вот, посмотри, пацан-то голодный. А он мне что-то о строительстве социализма говорит в это время. Он посмотрел на меня с большим недоумением, и я понял, что его недоумение искреннее, он этого мальчика не видит. В каком смысле не видит? Он видит его физически, но он не может на него реагировать и что-либо переживать по одной простой причине: явление этого мальчика уже занимает место в его системе мысли, то есть оно от-объяснено. Я имею в виду такой способ объяснения, который позволяет нам чего-то не воспринимать и не видеть, позволяет не воспринимать опыт, потому что мы уже заранее якобы понимаем. Марлен заранее понимал нищету и голод. В каком смысле? А вот при социализме, пока еще не построено коммунистическое общество, есть люди более бедные, чем другие (так же как есть более равные, чем другие равные³, так

¹ Имеется в виду сокурсник М. К. Марлен Гапочка.

² Имя Марлен образовано от двух имен — Маркс, Ленин.

³ Аллюзия заповеди «все животные равны, но некоторые животные — равнее других», одной из заповедей кабана Наполеона, персонажа произведения Дж. Оруэлла «Скотный двор».

есть и бедные, более бедные, чем другие), — естественный недостаток переживаемого периода развития и строительства, это пустяк.

За пассажами наших собственных мелких реакций и актами мысли скрываются иногда подводные части весьма больших айсбергов культуры и <...>. За таким от-объяснением не скрывается никакого психологического обмана, бесчувственности в простом психологическом смысле слова. Работает система нашего сознания, в каком-то смысле система нашего спасения и сохранения, эта спасительная система выстроена, и она сохраняет *identity*, то есть единство, тождество личности, и тем самым она совершает парадоксальную вещь. Ведь ты *видишь!* Да нет, мы видим [не непосредственно, а] в терминах чего-то, то есть в терминах семантических и понятийных сегментаций мира, которые, с одной стороны, позволяют нам что-то видеть, а с другой стороны, исключают из нашей возможности восприятия и понимания целые куски действительности.

Я говорил, что в английском языке есть прекрасный словооборот, который я плохо перевожу на русский как «от-объяснять», то есть избавляться путем объяснения. Англичане говорят *explain away* — «от-объяснить», «отделаться путем объяснения». Сказав это, я тем самым частично описал то, что было одним из основных предметов психоанализа и что получило более широкое хождение (вообще в культуре), частично переплетаясь с мотивами, взятыми у Ницше, а именно так называемый феномен или эффект рационализации. Внутри термина «рационализация» есть какая-то словесная переключка, игра с другим термином, а именно термином «рациональность». Но все-таки это не «рациональность», а именно «рационализация», то есть в самом термине уже содержится какой-то оценочный и негативный оттенок по отношению к тому явлению, которое этим термином обозначается. Вот, скажем, мой сокурсник явно рационализировал свои переживания, то есть он видел голодного и нищего мальчика, а сознавал обычные ожидаемые недостатки в развитии общества. Следовательно, фраза «недостатки в развитии общества» не есть элемент научного описания общества, хотя внешне построена как таковой, а есть скрытое выражение и рационализация чего-то другого.

В составе нашего сознания, в составе описания мира, наряду с утверждениями научного, содержательного и поддающегося контролю вида, мы можем встречать утверждения, которые внешне являются научными, или рациональными, или мыслительными, а в действительности они суть не элемент языка науки, а элемент какого-то другого языка, элемент, являющийся рационализацией, состоящей в том, что некоторый опыт переводится в термины другого опыта и тем самым ему придается какое-то не свойственное ему основание (то есть этот опыт выводится из каких-то высших оснований, из норм, из права, из справедливости и так далее).

Скажем, я могу быть подхалимом и подлизываться к начальству, а себе (я подчеркиваю, себе) и другим объяснять это так: мой начальник — прекрасный человек. Обратите внимание, насколько богата наша сознательная жизнь, насколько в разном смысле, на разных уровнях сознания и с разными последствиями могут выступать простейшие мысленные акции и слова, в которые они облакаются. В одном случае я говорю: «добрый человек» — это просто описание. Я могу ошибаться или не ошибаться; во всяком случае, мое описание доброты человека подчиняется каким-то критериям проверки, например опыта. Если я ошибаюсь, можно на опыте показать, что я ошибся, или, если я прав, это может быть подтверждено на опыте. В другом случае я говорю: «мой начальник — добрый человек», и здесь не имеет значения проверка этого на опыте, если на этом высказывании можно выявить другой процесс и другие свойства человека. Из страха, из разных корыстных интересов человек подлизывается к начальству, а его поведение выражается как следствие из каких-то оснований и принципов, а именно: мой начальник — добрый человек, поэтому я веду себя так. Эти акты нашего мышления и поведения называются рационализацией. Ничего сложного в этом термине, который вы встретите в более сложных, ученых контекстах, в действительности нет, но поставьте себя экспериментально, мысленно в другую ситуацию: вы не знаете этого термина и не знаете такого процесса, который называется рационализацией, а просто встречаетесь с некими выражениями сознательной и духовной жизни, со словами, и вы можете неправильно ориентироваться. И наоборот, зная, мы можем теперь представить сознательную жизнь человека в более богатом виде.

Раньше мы представляли так, что наша голова как бы состоит из энного, почти что бесконечно большого, неопределенно большого числа мысленных сущностей, ясных нам самим, и наша речь и общение с другими состоит в том, что мы их выражаем, или высказываем, или сообщаем их другим. Вот я сказал то-то — значит, это правильно или неправильно, а Фрейд скажет: нет, простите, вы хотели сказать другое, вы хотели сказать и высказалось то, что вы подхалим, а не то, что начальник добрый. Следовательно, здесь есть допущение каких-то участков сознания и переживания, которые не осознаются, а выражаются или сами говорят о чем-то, ускользая из-под знания субъекта или от его самосознания, и могут быть для него недоступными. Тот простой пример, который я привел, может содержать в себе еще оттенок сознательной, что ли, хитрости: сам-то человек отдает себе отчет в том, что он подхалим, а на словах свое подхалимство приписывает каким-то следствиям из высших принципов (скажем, к доброму человеку нужно хорошо относиться; начальник добр, поэтому я к нему хорошо отношусь). Но дело в том, что эта ложь не сознательная, потому что человек сам в нее верит.

<Слой> духовной, умственной жизни настолько проседают под давлением друг друга, что потом расколоть это сознание, в котором человек твердо считает, что начальник добр и поэтому к нему нужно так относиться, в высшем слое почти что уже невозможно. Если вы кому-нибудь, кто на ваших глазах проделал акт, который вам кажется рационализацией, скажете об этом, то он совершенно искренне возмутится и будет это отрицать. Почему? Мы всегда отрицаем то, что нарушает то единство нашего существа, которое мы создали и которое является условием нашей жизни. Мир, в котором мы живем, должен быть нам понятен, а это значит, что в мире должны выполняться только такие события, последствия которых нас не разрушают в нашем отношении к самим себе, то есть не разрушают в том числе в сохранении какого-то достоинства, уважения к самому себе как понимающему, чувствующему, совершающему поступки существу. И все те представления, выражения, суждения и так далее, которые служат не для того, чтобы понять мир (понять независимо от того, несет он тебе благо или зло, или, как выражались древние, не плакать, не смеяться,

а понимать¹), а для того, чтобы в этом мире я воспроизвелся в качестве сохраняющего единство с самим собой, — все эти суждения поддаются очень сложному и в том числе психоаналитическому исследованию. Не только психоаналитическому. Я все время стараюсь провести идею некоторого стилистического единства в разных направлениях мысли в XX веке. Так вот, не только психоаналитическая, а совершенно аналогичная этому работа проделана установившейся в XX веке критикой идеологий, или критическим анализом идеологий (проделана, правда, раньше, начиная с Маркса, то есть с XIX века, но тогда это были отдельные явления, а сейчас идеология стала массовым явлением).

Обратите внимание, что такого рода мысленные образования, рационализации, существуют не только в нашей личной жизни и обслуживают единство нашего «Я», они существуют и в социальной мысли. В социальной мысли ведь тоже есть что-то о мире, а раз о мире, то и я в этом мире, о котором говорит социальная мысль, должен быть сохранен в качестве достойного и понимающего существа. Скажем, идеология очень часто наполнена тем, что мы называем упрощающими схемами мира, то есть такими схемами, которые не есть продукт исследования мира, а есть просто исполнение желания самосохранения в мире.

Я рассказывал, что однажды я видел фильм одной французской дамы об Анголе времен, когда там были португальцы. Она, конечно, типичный представитель левых французских кругов, и мышление ее, как было видно по фильму, представляет собой классический образец салонного кретинизма. В фильме еще и в цвете совпадает то, что мы обычно делим мир на белое и черное: там тоже мир поделен на белое и черное, поскольку фильм о неграх, но поделен с другим акцентом — это черно-белый мир, но только наоборот (черные хорошие, а белые плохие). Местный просветитель, портной по профессии (очень часто радикальные революционеры имели такие профессии, особенно в немецкой социал-демократии XIX века), проводит занятие «политпросвета»² (зна-

¹ Спиноза: «*Nec ridere, nec lugere, neque detestari, sed intelligere*» («Не смеяться, не плакать и не отворачиваться, но понимать»).

² *Политпросвет* — образовано от словосочетания «политическое просвещение».

комая нам сцена) и объясняет другим своим соотечественникам, как устроен мир: мир устроен так, что все беды из-за того, что в мире есть бедные и богатые. Почему в мире есть бедные? Потому что есть богатые. Если не было бы богатых, то не было бы и бедных.

Спорить с такого рода описаниями нельзя, потому что такой человек тебе глотку перегрызет, прежде чем позволит проникнуть твоей критике в свою голову, потому что дело не в том, что он что-то хочет понять, дело в том, что он должен уважать себя как понимающего человека. А в современном мире, чтобы уважать себя в качестве понимающего человека, нужно очень много работать, надо трудиться, что человеку лень, как правило. Вкладывать в себя капитал очень трудно, это сложное напряжение, растянутое во времени, и любой студент это знает. Труд понимания — очень большая обуза для человека. Так же как труд свободы очень большая обуза, и люди стараются сбросить это. В зазор между сложностью мира, который требует большого труда, и ленью совершать этот труд вклиниваются блаженные идеологические упрощающие схемы, которые, с одной стороны, позволяют тебе не трудиться (они простые: в мире есть богатые, поэтому есть бедные, и если не будет богатых, то не будет и бедных), а с другой стороны, ты сохраняешь человеческое достоинство, уважение к самому себе: ты понимаешь мир, ты видишь — в мире есть богатые и есть бедные. И такие сцепления обладают очень большой эмоциональной силой, в особенности когда они воспроизводятся на массах и на массовых движениях.

Эта сила, почти что равная той силе, которая высвобождается при расщеплении атомного ядра, очень беспокоила, смущала Фрейда (я прошу простить меня за то, что я иду немного кругами, но приходится помещать ученые вещи в более общий контекст, который позволял бы оперировать этими вещами более раскованно и не смущаясь внешними признаками учености), и рассуждения, размышления об «атомных» силах кристаллизаций [сцеплений] такого рода были мотивом тех поразивших современников и до сих пор скандальных экскурсов Фрейда, которые он проделывал не сугубо в рамках самого психоанализа, а в своих исследованиях культуры (или культурологических исследованиях). Я имею в виду работы Фрейда о христианстве, о религии и о мифах, о то-

темизме. Фрейд написал несколько работ, со всех сторон берущих феномен религии как феномен душевной жизни, то есть не как систему нравственности и сознательное мировоззрение (как она себя подает). Фрейд анализировал его по тем массовым подспудным и бессознательным энергиям, которые некоторые символы и идеологические сцепления религии могут кристаллизовать и высвободить и которые подобны энергии, которая высвобождается при расщеплении атомного ядра, — это все потенции того, что потом стало называться массовым бессознательным.

И XX век с очень большой готовностью подавал иллюстрации для абстрактных рассуждений. Конечно же, Фрейд ни о чем том, что потом случилось, не знал, поскольку основные теории его создавались где-то на рубеже Первой мировой войны (то есть до мировых войн). И естественно, потом оказалось странным, что эти описания атомных взрывов в душе, подкрепленные сначала сотрудником, а потом оппонентом Фрейда (но в том же жанре), а именно Карлом Юнгом, они просто в точности подходили к описанию Германии двадцатых годов, которое можно было сделать в социологических и политических терминах. Термины психоанализа, взятые с этой точки зрения, оказывались самыми лучшими для описания тех энергий, которые немецкий народ высвободил в области социального, политического и так далее мышления.

Я отвлекся в сторону, вернусь к тому, с чего я начал. Значит, по дороге мы тем не менее завоевали такую проблему (или допустили ее мысленно), что в нашей душевной жизни есть процессы, которые мы называем теперь рационализацией. Они возможны не только в нашей психологической жизни, а, как я показал, они возможны и в социальной, политической, то есть имеющей большие последствия, жизни. Массовые идеологии являются их примером. Следовательно, по типу анализа рационализаций (то есть косвенно выражающих себя бессознательных процессов) мы можем анализировать как психологическую жизнь, нервные заболевания, так и политическую реальность, идеологии. Мы можем анализировать также и историю, а именно мифы, религии, в той мере, в какой мы можем проанализировать там процессы X, выражающие и осознающие себя в виде процессов Y. Фрейд проанализировал в этом плане первичные то-

темические системы, христианство как иллюзию. И более того, Фрейд ворвался, идя по этому пути, и в анализ литературы. Вы знаете, что Фрейд написал в свое время эссе о Достоевском; он написал работы о Леонардо да Винчи и об одном вам неизвестном, уже забытом, по-моему, немецком писателе (не немецком даже, а скандинавском¹).

Сами работы Фрейда по анализу искусства и литературы тоже потом стали своего рода загадкой в том смысле, что вокруг них накопилась комментаторская и вульгаризирующая их литература. В них концепция Фрейда предстала как убеждение, что религия, литература, искусство суть в действительности не некоторые продуктивные и самоценные виды деятельности и творчества, а лишь косвенное выражение, прикрытие других процессов, что благородные формы искусства скрывают весьма примитивные и низкие комплексы, страсти, вожделения и прочее. И в этом смысле Фрейда упрекали в циничном стремлении унижить высшую духовную жизнь человека, а именно искусство. Это недоразумение, ничего этого у Фрейда нет, Фрейд не пытался искусство как таковое или литературу как таковую свести к выражению каких-то человеческих бездн.

Наука работает в абстракциях, она строит некие идеальные объекты, исследуя которые она может что-то контролировать, разумно высказать об эмпирии, о мире, высказать такое, что нельзя было бы высказать, просто наблюдая эмпирию. Мысль Фрейда состояла в том, что искусство также, будучи достаточно длинным текстом (я повторяю, достаточно длинным текстом), содержит в себе какие-то элементы, назовем их условно стилем, по которым можно что-то узнать такое, что в самом произведении не сказано и что не входило в сознанием контролируемую интенцию выражения. Это не значит, что все произведение есть лишь иносказание чего-то скрытого. Нет, просто это достаточно длинный текст, в котором я могу выявить некоторые единицы, назовем их трóпами (я имею в виду понятие классической риторики, вам, наверное, известное).

Я возьму простой пример (я специально буду брать примитивные примеры, но поскольку я реагирую на них жиз-

¹ Очевидно, имеется в виду работа З. Фрейда «Бред и сны в „Градиве“ В. Йенсена».

ненно и поскольку они примитивные и реально случившиеся, то и на вашей стороне тоже может воссоздаться эта же живая реакция без, повторяю, особой учености). У меня есть один знакомый — я имею в виду Гачева, прекрасный, милый человек, и он пишет довольно забавные литературоведческие работы. Однажды он принес мне статью, в которой он рассматривал, анализировал (преследуя свои цели, не имея никакого представления о психоанализе и, наверное, не принимая его) работы Достоевского с точки зрения, как он считал, выражения некоего космоса Достоевского¹, показывая, насколько устойчиво через романы Достоевского проходят образы, например, камня, воды (космос — это материальное явление, то есть камень, вода и так далее). Петроград можно ассоциировать даже уже со словом *pietra*, по-итальянски это «камень», а воды в Петербурге действительно много. И можно увидеть, насколько устойчиво, сквозным образом повторяется этот стилистический троп через большие куски текста; не в отдельной фразе, конечно, а через большие куски текста повторяется это устойчивое у Достоевского восприятие — «каменно-влажное» восприятие, назовем его условно так. Такого рода вещи и есть предмет психоанализа, по ним мы можем узнать что-то о Достоевском. Это не единственный троп, по которому мы можем что-то узнать о глубоких психических процессах в душе автора сочинения. Значит ли это, что, скажем, «Преступление и наказание», в котором эти тропы просвечивают, есть просто выражение низшей природы в душе Достоевского? Вовсе нет. Если я психоаналитик и врач, я могу проделать анализ, не сводя тем самым произведение к выражению болезни или комплексов у автора.

Повторяю, нужен просто достаточно большой кусок выражения душевной жизни, и поэтому, скажем, и существует классическая для психоанализа сцена общения врача с пациентом, где врач (врач? — хорошая оговорка), то есть пациент, лежит на кушетке и бесконечно говорит. И в этом бесконечном говорении даже не важно, о чем именно он говорит, важно, что он говорит достаточно долго, чтобы ска-

¹ Г. Д. Гачев (1929–2008) — известный российский литературовед, культуролог. Очевидно, имеется в виду его статья «Космос Достоевского» (см.: Проблемы поэтики и истории литературы. Саранск: Изд-во Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева, 1973).

залось что-то (поэтому я подчеркивал все время элемент необходимости большого текста).

Что есть в этих вещах? Рационализация, комплексы, выражающиеся через тропы, — что это такое? Почему это оказалось так интересно в культуре XX века? Не только, конечно, потому, что сами примеры и факты интересны и богаты и мы не могли бы их освоить и понять, употребляя классические, привычные нам понятия рационального, разумного человека, который сам для себя вполне прозрачен или в котором «Я» — центр некоторой вселенной сознания. Мы уже видим (и я возвращаюсь к тому, о чем я говорил в прошлый раз) примеры таких духовных образований, к которым приложим термин «рационализация», к которым приложим анализ, который мы видели на примере анализа социально-политической мысли или на примере анализа литературного творчества. Все эти духовные образования имеют признак, к которому я вас возвращаю, а именно признак отсутствия центра. У них нет центра «Я», они не объединены вокруг этого, и тем самым все эти примеры выражают идею иерархического строения сознания, то есть идею того, что в сознании есть много уровней, слоев, которые разным образом переплетены. Более того, эти уровни и слои сознания имеют разное происхождение и разные источники, то есть они гетерогенны, разнородны. Значит, повторяю — «децентрированы», «разнородны», и сейчас мы сделаем еще один шаг.

Я вас возвращаю к тому, с чего я начал наше рассуждение. Этот шаг, который я хочу сделать, он сложный, поэтому я — наверное, тоже бессознательно — все время увиливал от него и шел в другие стороны, надеясь, что по ходу дела хоть что-то скажу, чтобы тут же пояснить суть дела. Я ронял мимоходом фразы о том, что опыт, который я теперь называю самодостаточным, должен быть взят так, как если бы весь мир впервые заново или просто в первый раз возникал. Это и есть вещь, которая трудна для объяснения. Я рисовал перспективу, в которой есть внешний взгляд из трансцендентного, и он падает на человечка, который что-то переживает, и его переживания должны быть переведены на язык трансцендентных сущностей, а из сущностей нужно вернуться назад уже с объяснением того, что пережито. И мы уже знаем, что такое ныряние иногда бывает не объ-

яснением, а от-объяснением (скажем, Марлен нырял в теорию социализма). Мы договорились, что есть какой-то опыт, который мы пытаемся рассмотреть как самодостаточный в том смысле, что в нем впервые что-то возникает; это возникающее не является реализацией неких сущностей, и мы не можем понимать его в терминах этих сущностей.

И я введу еще одну маленькую посылку, чтобы вы держали ее в голове: то, о чем я сейчас буду говорить, разгрызается в детстве. Это, собственно, и есть предмет психоанализа, то есть обычно психоаналитическое исследование относится к какому-то решающему периоду детства: скажем, первый рубеж — три-четыре года и следующий рубеж — двенадцать-тринадцать лет. В этом смысле психоанализ есть, скажем так, анализ детской психики, или анализ прошлого взрослого человека, а прошлое взрослого человека — это детство, естественно.

Значит, психоанализ есть в каком-то смысле археология, археология детства. Очень четко, кстати, это понимал один довольно странный русский писатель, который на себе пытался это проделать, но, кажется, с переменным успехом. Одно время ему казалось, что он, практикуя психоанализ, добился успеха, и можно ему поверить (очевидно, он чего-то добился, но история умалчивает, и он вскоре после этого умер). Я имею в виду Зоценко. Он просто совершенно сознательно (начитавшись книг, очевидно, — это ясно по тексту повести и видно, что именно он читал, и так далее; по тем временам он сам факт этого чтения тщательно скрывал) пытался, анализируя свои сны и воспоминания, дойти до им пережитого и забытого, восстановить его так, чтобы восстановление это было лечением. Но по дороге (поскольку это восстановление делалось текстом) были написаны прекрасные новеллы, составляющие повесть, которая сейчас называется «Повесть о разуме», а раньше, в оригинале, называлась «Перед восходом солнца»¹.

¹ Публикация повести М. Зоценко «Перед восходом солнца» в журнале «Звезда» была прервана. Ее осуждение стало одним из пунктов разгромной кампании 1946 г., начатой Постановлением ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“». Вторая часть повести была опубликована только в 1972 г. в журнале «Звезда» под придуманным публикатором А. Гульгой названием «Повесть о разуме».

Я не случайно просил удержать в голове ассоциацию с детством (я возвращаюсь к проблеме отношения, которое внутри опыта). <...> Вот с ребенком что-то случилось, произошло какое-то событие (а ребенок, по определению, имеет дело с вещами, о которых знает взрослый; ребенок тем и отличается от взрослого, что он, имея дело с взрослым миром, с вещами, о которых знает взрослый, о них не знает); скажем, ребенок наблюдает (хотя такое наблюдение совершенно не является необходимым для психоанализа в качестве эмпирически случившегося, и я потом поясню, в каком смысле), случайно наблюдает, подсматривая в замочную скважину, эротическую сцену между родителями. Она для него в принципе непонятна, родители совершают какие-то странные действия, физически они ясные, но совершенно непонятные в контексте.

Здесь как раз и лежит та проблема, о которой я пытаюсь рассказать и пояснить ее философские импликации. Ведь обычно мы склонны рассуждать так: есть сцена, она переживается наблюдателем, который в принципе ее не может понять, потому что у него нет в голове набора соответствующих интеллектуальных структур и привычек, которые сделали бы наблюдаемое понятным и осмысленным для него, у него нет инструмента для понимания этого, — так вот, мы обычно рассуждаем так, что отсутствие инструментов сменяется наличием инструментов, или незнание чего-то сменяется знанием, непонимание чего-то сменяется пониманием, ребенок вырастет и поймет. В этом смысле заблуждение и непонимание, незнание суть какие-то отрицательные величины по сравнению с положительными знанием и пониманием, которые в свое время, положенное время, приходят на пустое место, оставленное незнанием, непониманием и бессмыслицей. Но это совокупность привычек; ведь я говорю нечто, что вы узнаете как привычное в нашем мышлении: соотношение между пониманием и непониманием, знанием — незнанием, смыслом — несмыслом, — все это привычка, мы всегда так рассуждаем. Психоанализ поэтому и значителен, что он радикально меняет эту привычку зарядом, который он в себе содержит. Какой заряд он в себе содержит? Зададим следующий вопрос: ждет ли наша психическая жизнь, наше сознание — ждут ли они будущего понимания? Иными словами, отношение внутри опыта к самому опыту рассматривается

психоанализом как самодостаточное в том смысле слова, что оно не является пустотой, которая ждет заполнения пониманием, а является продуктивным непониманием.

Непонимание, которое в классическом воззрении есть какой-то туман, который рассеивается с наступлением понимания, под лучами понимания, в психоанализе стало рассматриваться как продуктивное событие, как самодостаточное в этом смысле слова, то есть в психоанализе оказалась понятной необратимость нашей сознательной жизни: то, что пережито, продуктивно независимо от того, как это пережито и понято — правильно или неправильно. То, что кажется непониманием, и есть то переживание, которое потом неотделимо от действительного содержания переживания. Так называемая сексуальная травма есть то переживание, которое неотделимо от любой, так сказать, правильной сексуальной жизни. Скажем, понимание или правильная сексуальная жизнь пришла на место непонимания, но место уже занято пережитым, необратимо пережитым, или занято интерпретированным ответом, в котором впервые возник соответствующий мир. И это необратимо в том смысле, что мир для данного человека, для данного субъекта не может вернуться в прежнее положение, в котором он был до опыта.

Здесь содержится одна основная идея: мы не можем язык описания какого-то явления отделить от самого этого явления, точно так же как мы не можем отделить галлюцинацию или, скажем, видение розового слона от действительного слона. Почему? Слон — это ведь то знание, которое есть вовне, или извне, в трансцендентной перспективе, о которой я говорил; подставьте на место слона детское переживание в перспективе взрослого понимания: я знаю, как на самом деле, а ребенок не знает, как на самом деле. Фрейд на это отвечает, что как пережито, так и понято и то, как пережито и понято, продуктивно, это оставит след. И бессмысленно в ответ на этот опыт говорить, какова была действительность, указывая на нее пальцем, бессмысленно говорить ребенку, что в действительности делают родители. Это даже взрослому бывает невозможно сказать, в особенности на русском языке, который вообще не приспособлен для такого разговора, но это невозможно сказать не только по языковым причинам или этическим соображениям, невозможно сказать, потому что бессмысленно, потому что не об этом речь.

Речь идет не о том, что действительно происходит, а о том, каков смысл происходящего, а смысл, как я говорил, есть разрешение проблемы. И если ребенок нашел решение целого своей сознательной жизни через какое-то видение, через тот смысл, который он придал, например, наблюдаемой эротической сцене, последующее узнавание им того, что это значило, не вернет обратно мир и не отменит пережитого опыта и отложившегося смысла. Поэтому и возникает вопрос: на чем этот смысл закрепился? Вернее, так: каков был этот смысл, то есть, во-первых, что разрешилось через непонимающее понимание и, во-вторых, на чем оно закрепилось, на чем кристаллизовалось? Я приведу совершенно произвольный пример, опять же прослеживая внутреннее единство разных этажей или, вернее, разных департаментов культуры.

Если вы помните, у Пруста пирожное [(«Мадлен»)] не есть пирожное, а есть как раз то, что, согласно Фрейду, я назвал интерпретированным объектом. У Валери есть аналогичные объекты, условно аналогичные, потому что Валери вовсе не думал об этом, он думал о другом, но опять же — стилистическое совпадение. В таких случаях Валери употреблял прекрасное слово, для латинского уха оно звучит очень точно, — *implex*, то есть нечто, во что упаковано что-то другое¹. Пирожное оказалось носителем определенной совокупности пережитых воспоминаний, которые ушли из связей сознательной памяти и закрепились в пирожном. И вот когда-то, в один прекрасный момент, поедание пирожного вдруг выпустило целый мир (как чайники распускаются в чае), который был пережит Прустом в детстве: физический мир природы, деревьев, людей, домов, которые он запомнил не сознательным усилием запоминания, а эти воспоминания сами как бы вошли в пирожное и в нем закрепились. Подставьте пирожное под более сложные случаи, когда это пирожное являет уже не предметы кулинарного наслаждения и затем литературной работы, как у Пруста, а пирожным

¹ «Стремясь примирить свой отвлеченный принцип с необходимостью социальной, творческой активности человека, выявления его внутреннего плюрализма, Валери вводит в диалоге „Навязчивая идея“ (1932) понятие „имплекса“, которое неразрывно связывает идею „чистого Я“ с обусловленностью внешним миром» (комментарий В. Козового к тексту П. Валери «Вечер с господином Тэстом» // Валери П. Об искусстве. М.: Искусство, 1976. С. 430).

может быть то, что называется комплексом, фиксацией. Следовательно, мы можем брать нечто как фиксацию в том смысле слова, что мы идем к тем переживаниям, которые есть акты продуктивного понимания или продуктивного непонимания, которое вовсе не ждало будущего понимания действительности, а породило что-то в силу характера и структуры самого переживания. Значит, нам нужно, во-первых, искать порожденное, то, что породилось, и, во-вторых, то, на чем закрепились. А закреплиться может в самых странных вещах (кто-то ложится спать и перед этим должен три раза прикоснуться к носу и под подушку еще что-то положить); что туда уложилось, что упаковалось — об этих вещах и говорит психоанализ.

Значит, есть следы решения проблем, предметы, на которых эти проблемы разрешены, предметы, называемые фиксациями или комплексами на вульгарном языке (хотя сам Фрейд этого термина не применял), и в глубине всего этого — другое представление о работе нашего понимания, другое представление по сравнению с линией, которую строили когда-то классический рационализм и прогрессизм (когда истина постепенно вырастает из заблуждений, а заблуждения рассеиваются как туман, то есть заблуждения и непонимание суть отрицательные величины, или пустые величины). А тут мы видим совершенно другую картину нашей сознательной жизни, картину, в которой мир рождается в самом опыте, и мы впервые о нем узнаем из этого опыта. Скажем, мы обычно считаем, что заранее знаем смысл эротической сцены, он как бы некая сущность, которая существует в мире. Этой сущности нет.

Я поясню немножко с другой стороны, чтобы мы четко усвоили сам характер интеллектуального языка, который скрыт внутри за внешней эмпирической оболочкой психоанализа. У психоанализа есть свои предметы, и мы в них не вдаемся, мы не врачи, и не наше собачье дело этим заниматься, это можно делать только профессионально. Так вот, чтобы ухватить интеллектуальный стиль и заодно вернуться тем самым вообще к напоминанию природы человеческого существа, я буду опять употреблять слова «внешнее», «внутреннее», «трансцендентная перспектива», «внутренняя перспектива» и прочее. Внутренний заряд психоанализа состоял в том, что он напомнил нам снова о фундаментальном

положении человека в мире, о том, каков человек (не в том смысле, что он хорош или плох).

Мы знаем, есть факты: вот дерево, вот камень, магнитфон, стакан, в придачу ко всем этим предметам есть мужчина и женщина, то есть разные существа, два пола. Чтобы что-то понимать, мы должны рассуждать так, как если бы этого факта не существовало. В каком смысле? А в том, о котором я фактически уже говорил: предметы психической жизни неотделимы от интерпретации и понимания, в терминах которого они пережиты впервые. Для животного различие полов отрегулировано природой, автоматизмом инстинктов; факт различия полов в человеческом смысле не существует до тех пор, пока этот факт не открыт, и психоанализ показал, что все дело в том, что этот факт должен быть установлен, а для этого установления факт знания различия полов во взрослом внешнем наблюдении никакого значения не имеет. Для человека заранее разница полов не отрегулирована, не дана как факт поведения и жизни (то есть не как анатомический факт). Если анализировать сны, анализировать комплексы, анализировать неврозы, то мы будем выяснять, что ребенок приходит на энном году к установлению факта различия полов как факта, имеющего смысл, через детские «теории», например через так называемый комплекс кастрации, то есть сначала идет продуктивная работа психики, пытающаяся установить этот факт, и она в разных людях откладывает разные результаты. Ведь что нужно объяснить? Откуда висюлька у мальчика и почему пустота у девочки. Следы наших детских «теорий» происхождения мира, человека и разницы полов существуют потом в наших сновидениях как видение змеи или глубокого колодца, в который мы падаем, подъема и спуска, — это все символы полового акта или разницы полов.

Сам факт сексуальных отклонений, сама их возможность есть свидетельство экспериментального характера факта различия полов, если под «экспериментальным» понимать то, что должно быть установлено путем психической проработки. Тогда и известна разница — после работы сознания. А ведь что-то могло случиться, пока сознание работало. Значит, во-первых, необходима работа сознания, а не просто факты. И вторая, уже клиническая мысль у Фрейда: что по дороге могло что-то случиться. Потому что ведь ни-

что не гарантировано, и наше здоровье, то, что мы условно называем здоровьем, есть экспериментальный факт, то есть то, что становится усилием, или работой, работой сознания в том числе, а наше нездоровье есть плата за экспериментальный характер нашего здоровья, то есть за негарантированность нашего природного здоровья. Иначе понять это нельзя. Я бы сказал так, например: если возможно было бы абсолютное наблюдение (эту фразу я говорю, чтобы внутри мышления соединить разные стили в один и связать, казалось бы, совершенно разные, внешне не связанные площадки мысли; представьте себе съемочную площадку: в разных ее местах играют актеры — здесь, сто, тысячу километров отсюда, на первом этаже, на третьем, а все эти площадочки связаны между собой), то есть внешний, трансцендентный мир, то не было бы гомосексуализма.

Ведь что мы на нашем нормальном языке рассматриваем в качестве болезни? Мы рассматриваем в качестве болезни то, что отклоняется от нормы. А что такое норма? А норма есть сущность, то есть предмет, существующий в трансцендентном мире. Если мы перестаем предполагать, что предметы, или сущности, существуют сами по себе, как существуют деревья или камни, а [будем полагать, что они] существуют лишь в той мере, в какой они воспроизводятся на уровне человеческого усилия и риска не стать человеком (ведь только на фоне риска не стать человеком мы становимся человеками, то же самое относится и к нормам), мы тогда, следовательно, выводим так называемое отклонение из-под абсолютной моральной оценки. Мы не можем в них [(отклонениях)] видеть умысел отклонения от сущностей, мы видим в этом проявление нормальной работы психики, именно работы, а все, что есть работа, связано с риском — получится, не получится.

Один психоаналитик хорошо сказал (здесь именно форма хороша, но она сейчас выскочила из головы, а оставила вместо себя какой-то смутный предмет): вся наша жизнь есть лечение от шока рождения¹. Кстати, этой фразе можно придать прямой смысл: есть медицинские исследования, ко-

¹ Вероятно, речь идет об Отто Ранке и фраза, которую имеет в виду М. К., звучит так: «Вся наша жизнь есть попытка справиться с травмой рождения».

которые рассматривают последствия физического акта рождения, который драматичен просто даже в физических терминах и не может не оставлять каких-то следов. А возьмите это в переносном смысле слова: рождение не просто как физическое рождение, а рождение человеческого существа в том смысле, как мы это обсуждали по ходу нашего курса. Это может быть шоком, иметь последствия, ведь все решается в три-четыре года. И собственно психоанализу поддаются именно эти вещи, а не просто вещи, которые случаются позже и в действительности не имеют отношения к психоанализу. Мы не можем вульгарно применять психоанализ к любым проявлениям нашего взрослого сознания; во взрослом сознании мы можем искать, но только то, что прослеживаемо к детству. А к детству прослеживаемы основные вопросы понимания: кто я? Откуда? Как родился и чем отличаюсь от других или от другой? И именно то, что над этим приходится работать, влечет за собой такие последствия, что можно и сломаться. Могут произойти упаковки работы не в невинное пирожное, а в какие-то сцепления патологического поведения. Само сцепление патологического поведения есть предмет, упаковавший в себя эту работу. Что же тогда исследует психоанализ? (Держите в голове патетическую трогательную попытку Зоценко что-то с собой проделать, чтобы вылечиться.)

Что мы исследуем, оперируя психоанализом? Я снова возвращаю вас к вульгарному пониманию психоанализа, о котором я уже упоминал. Мне нужно обязательно его разрушить, чтобы в ваших головах просто не было этих ассоциаций. С психоанализом происходит очень странная вещь: психоанализ — это учение, у которого нет предмета (и этим оно интересно философски), то есть нет чего-то, о чем наконец-то мы получаем знания как о чем-то существующем, как о каком-то предмете. Скажем, мы не видели какую-то звезду (она скрывалась, была закрыта чем-то, скажем горизонтом), и потом ее открыли, обнаружили, так якобы мы в душе своей что-то открываем. Да нет. Вся сложность психоанализа состоит в том (и почему, с одной стороны, психоанализ был вульгарно понят друзьями, а с другой стороны, не принимался врагами), что это совершенно новый способ рассуждения и новый тип научной теории, отличающейся от традиционных научных теорий. Традиционные научные тео-

рии, и по сей день имеющие место для соответствующих предметов, представляют собой особый способ построения знания о каком-то предмете, относительно которого возможны так называемые объективации, то есть возможно вынесение вовне состояний мысли, так что это состояния мысли о предмете: скажем, если математическая формула соответствует определенным условиям, она может быть объективирована, то есть описание приписывается миру. Это описание мира, субъект от него отделен. Объективация есть отделение чего-то, что выносится вовне, приписывается миру, и одновременно предполагается субъект, который отделен от этого мира, никак на него не влияет и в том числе никак его не искажает.

Имеем ли мы что-нибудь в этом смысле в психоанализе? Дело в том, что казалось, что имеем. Да все так и понимали, что если это наука, то она должна нам открыть какой-то предмет, который существовал бы независимо от субъекта. В действительности в психоанализе есть совершенно особое явление, состоящее в том, чтобы посредством исследования выйти к некоторым условиям, которые кристаллизовались в психических комплексах, и выйти к этим комплексам так, чтобы сама работа по выхождению к этим комплексам расцепила эти условия и позволила породиться новому сознательному опыту. То есть предмет здесь никак не описывается, говорится так: давайте поработаем, и, может быть, что-то высвободится. Такого предмета, как раковая опухоль, которую можно найти, описать и удалить, в психоанализе нет. Есть лишь путь, который позволил бы породиться новому сознательному опыту, такому, который расцепил бы прежние сцепления. А опыт может делаться только вместе с самим человеком. В психоанализе врач есть участник диалога, поэтому в психоанализе такое большое значение имеет слово, беседа, в которую вступают два странных персонажа; один из них — врач-психоаналитик, который от врача отличается тем, что он *не знает* (а врач ведь знает: мы идем к врачу как к такому человеку, который профессионально знает о нас что-то, чего мы не знаем, то есть у него, как бы сказать, картофелины нашей души, и он выберет удачную, поставит на место неудачной, подгнившей); в психоанализе врач не сообщает никакой конкретной истины пациенту. В случае психоанализа мы имеем дело с диалогической ис-

тиной, то есть такой, которая, во-первых, не существует до диалога и, во-вторых, особенно и прежде всего не существует у врача, который извне сообщил бы ее пациенту. Речь идет о том, чтобы спровоцировать, породить новый сознательный опыт, который расцепил бы прежние сцепления, — тем самым психоанализ ничего не описывает.

ЛЕКЦИЯ 18

Продолжим прошлую тему. То, что я рассказывал о Фрейде, я завершу дополнительно только одной темой из всего прочего, о чем еще можно было бы бесконечно рассказывать, поскольку это очень интересно и важно (я тем не менее вынужден ограничивать себя). Эта тема фактически есть предупреждение вам и себе тоже, конечно, о самом способе восприятия Фрейда, теоретических утверждений психоанализа, основных понятий, которые в нем фигурируют, проходят через весь психоанализ. Это предупреждение, или эта тема, состоит в указании на особый характер фрейдовского аналитического аппарата, на те понятия, которые оригинальны и были введены Фрейдом, а потом получили широкое распространение, часто лишаясь своего первичного оригинального смысла; в расхожих употреблениях, в руках неграмотных людей они стали тупыми предметами и орудиями бессмысленной моды. Мое предупреждение будет иметь смысл, потому что, насколько вы могли убедиться из моих рассуждений за весь этот год, глупость есть обычное состояние человека, а все остальное удивительно, то есть удивителен тот факт, когда человек все-таки не говорит глупостей.

Для начала скажу о более или менее простой вещи. В XX веке психоанализ получил наибольшее распространение в США, и распространился он там во многом вопреки своему первоначальному смыслу. Распространившись в виде очень широкой медицинской практики (часто неофициальной, но тем не менее широкой), он выступил в глазах практикантов психоанализа и в глазах пациентов как некоторый способ лечения, где теория неотделима от практики, выступил как такая теория и практика, которые созданы для того, чтобы разрешать конфликты человека с самим собой и с окружающей его средой — культурной, социальной,